

На Василий Голованов берегу неба



Василий Голованов
На берегу неба (сборник)

«НЛО»

2017

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Голованов В. Я.

На берегу неба (сборник) / В. Я. Голованов — «НЛО»,
2017

«На берегу неба» – новая книга Василия Голованова, известного читателю по блестящим художественным исследованиям «Нестор Махно», «Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий», «К развалинам Чевенгура», «Каспийская книга». На этот раз автор представил на суд читателя небольшие повести и рассказы, исполненные редких в современной литературе искренности и исповедальности. Соединение мужской жесткости и в то же время нерастраченной юношеской нежности в размышлениях о любви, о детстве, о героизме и трусости, о призвании и о судьбе человека – свидетельство неистового желания автора докопаться до сути: зачем дается человеку жизнь и что надо сделать с собой, чтобы среди самой затрапезной обыденности самому остаться живым, сохранить в себе искру божественного света?

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

© Голованов В. Я., 2017
© НЛО, 2017

Содержание

Танк	6
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Василий Голованов

На берегу неба (сборник)

© В. Голованов, 2017,

© ООО «Новое литературное обозрение», 2017

* * *

Танк

Короче, про танк – это я сам все выдумал. Просто раз бродили мы с дедом по лесу, а он возьми и скажи – так мол и так, они всегда танки вперед бросали, рвали все напрочь, чтобы потом уже никто не соображал, где чужие, где свои, да-а... Будто стародавнюю мысль какую-то начал вслух и опять ушел весь в грибы. А денек был серенький такой, предосенний, березки сыпали желтой листвой, и в колеях лесной дороги, заросших болотной травой, стояла давняя вода. И вот я прищурился, гляжу вдаль, в сумрак – и не то что вижу, а слышу явственно, как взывают моторы: они. А потом танк вижу, передовой. Т-III, как сейчас помню, классический танк с классическими фрицами на броне, в классических касках, серые такие. Они нас не замечают, потому что ему тяжело по колеям, дорога у нас в лесу раз-би-тая, танк ревет, весь сизым дымом окутан, бросает его из стороны в сторону, и там пехоте на броне – только держись! Но все равно, видок не кислый, а главное – десант, а наши не знают – ломит на станцию, на Пушкино, на шлюзы, сволочь, ломит. Ну и дед их, разумеется, не видит – ему-то что? он своего насмотрелся на войне, – идет себе, палочкой листики цепляет, ветки приподнимает, в траве пошуршит – и точно – раз! – подосиновик найдет, или белый, или подберезовик на худой конец. Крякнет так удовлетворенно и аккуратно ножичком его подрежет, а грибницу прикроет землей. Этот ножичек бабушка мне отдала после его смерти. Но я им пользоваться не стал, он так на книжной полке и лежит – нож деда. Я у него в руках его помню. Там было одно лезвие большое, другое маленькое, пилочка для ногтей, ножницы, две костяные зубочистки под накладками черепаховой ручки, отвертка, штопор, толстое шило скорняжное и шило длинное, тонкое портняжное. По уму нож был сделан. Немецкий.

Этим шилом тонким удобно было дырочки в трубке для травы прочищать.

Но это не о том... Просто, как и все, я в детстве думал, у меня все нормально будет в жизни, потому что такая сила была за спиной, такая защита. Дед, бабушка, мать, отец. Потом дача кончилась, да и детство тоже, пошла другая жизнь, взрослая, которая завертела сначала меня, а потом вместе со мной и всех, кто оказался рядом, пока однажды в сорок лет я не снял для своих детей дачу в том же поселке, где маленьким рос когда-то, и ко мне не вернулась странная память глубокого детства...

И это оказалось... ну, спасительно. Я не знаю, что в этом было такого спасительного, но это было точно прикосновение к душе, которая, я думал, у меня уже умерла. Короче, было нас четверо – Алешка, Наташка, я и Санек, но он тогда маленький был, в событиях не участвовал. А Лизка вообще еще не родилась. Она на последнем этапе только подключилась. На самом, можно сказать, последнем, когда нас опять осталось только четверо, родных. А больше и не было: тут мы все, братья-сестры. Мы с Саньком родные, а Алешка с Наташкой – наши двоюродные. Алешка на четыре года старше, мы с Наташкой – ровня. Санек еще на четыре – минус. Их к нам привозил мамин брат, дядя Боря, то на месяц, то недели на две. И начиналось самое счастливое время: время восторженного нашего щенячьего, родственного копошения, когда лето просто кипело от наших шалостей и визга и все мы были абсолютно счастливы. Помню, как мы с Саньком бродили после дождя по лужам. И бродили, надо сказать, уныло, потому что у него сапожки были коротенькие, и настоящего соревнования, настоящей игры с ним быть не могло. И вдруг бабушка стала нас звать:

– Ребята! Алеша и Наташа приехали!

И мы от радости так и ударились по дороге, нарочно разбивая брызги и хохоча в голос от счастья, а Алешка сидел на заборе и улыбался, как кот, а Наташка из-за забора смотрела на меня и, наверно, думала: «Вот дурачок... И не вырос совсем...»

Все лето ходил, вспоминал. Про танк. Про карьеры. Как мы их искали – ведь несколько лет! А туда езды на велике чуть больше получаса. Но это сейчас, когда мы все стали взрослыми и прем себе напрямик – благо, велик у меня американский, в двадцать скоростей, на нем через лес проехать можно напролом. А поначалу-то ощупью: мир еще был бескраен, поначалу был только лес и дед – как провожатый. Мы продвигались вперед, полагаясь на его память, шли, как вчера, позавчера и раньше. У деда-то были свои причины не спешить – но кто из нас понимал его тогда? Он выгребал против течения времени, которое могло снести его в прошлое, в войну, всеми силами стремясь удержаться за сегодняшний день, за узор папоротника или блестящее, как весенняя листва, оперенье зеленого дятла, вдруг севшего на березу рядом с ним. А мы, у которых памяти не было по малолетству, радовались, что нам удастся пройти вчерашний путь след в след: это значило, что миллионы шагов вслед за дедом в дремучей траве, где все отвлекало и кружило, наложились на что-то, и податливая, жидкая еще память вобрала их и окрепла, как жемчужина, слой за слоем обрастая твердым перламутром. Мы уже знали каждое дерево на своем пути, деревья стояли крепко, как вехи, но вокруг мир был еще зыбок, как сон: через слив плотины переливалось в речку небо – то ясное, то в снежных громадах облаков. Отцветали ландыши, и начинала цвести земляника, потом наступало время щавеля, и мы паслись в прохладной зеленой траве, пока не приходили мужики с косами, веселые загорелые мужики с крупными сочленениями хребта, рук и ног, и не выкашивали весь щавель вместе с прочей травой. В малиннике завязывались первые ягоды, мы пробовали и сплевывали – они были горьки и шершавы. Ящерка убежала, оставляя в ладони хвост, невыносимо бьющийся похожей на ток тонкой дрожью жизни. На поляне, над распустившимися синими головками колокольчиков и короставника начинали свой беззвучный танец бабочки-перламутровки. Черные волосатые гусеницы тяжелыми ненасытными гроздьями обвисали на крапиве. В лесных лужах, среди стеблей стрелолиста и волокон зеленых подводных волос сама собою заводилась неизвестная жизнь мелких подвижных существ. Внезапно созревала земляника, и ее тончайший запах пронизывал все от кончиков пальцев до бревен, из которых сложен был дом, и белых занавесок на терраске, куда к полднику бабушка выносила миску розовых пенок. А потом начинались грибы. И мы шли тогда через плотину в лес, в непролазную лесопосадку перед высоковольтной линией, которая сухо и нехорошо потрескивала толстенными черными проводами и в дождь, и в жару. Там, под проводами, мосластые мужики тоже сушили и копнили сено. Тогда людей на дачах было мало, и мы набирали полные корзинки белых, подберезовиков и подосиновиков прямо за плотиной. И лишь несколько раз мы с дедом переходили просеку высоковольтной линии и шли в Большой лес.

Тогда мы не заходили дальше опушки: это был настоящий лес, с огромными соснами и елями, на серых стволах которых запеклись желтые потеки смолы. Здесь царил сумрак и среди жесткой сумеречной травы синела ядовитая ягода вороний глаз. Обычно так, по опушке, доходили до ограды лесничества и поворачивали обратно.

Мы видели в лесу круглые ямы, устланные палой листвой, мы знали, что это воронки последней войны, в которых во время дождей скапливается и стоит вода, но каждая из них еще теплилась для нас огнем разрыва. Короче, тогда еще воронки не затянулись на теле земли; правда, по краям они заросли уже молодыми деревцами, и эти деревца потом выросли и всосали в себя следы разрывов, заполнили их листьями и корнями.

Но тогда война была еще близко, она еще погромыхивала где-то в недалекой заповедности истории. В каком-то смысле война еще продолжалась, тлела болью в громадной ране деда или вдруг взрывалась бессвязными, но грозными речами дяди Саши Царева, возчика конторы Мосдачтреста, который на телеге, запряженной гнедым Орликом, развозил по дачам баллоны с газом. В Москве, в школе нам говорили, что это была последняя война, буквально последняя в истории, но мы не верили этому: что-то должно было остаться и на

нашу долю. К тому же за войной тянулся такой длинный шлейф памяти взрослых, что мы так и жили в этой их памяти, как во сне или в кино...

Я вспомнил, как Наташка, моя кузина, ложилась спать на кровати в соседней комнате и перед сном в раствор двери всегда говорила мне «спокойной ночи», а потом улыбалась и, от смущения, что ли, отворачивалась, и я видел узел русых волос у нее за затылке и думал только о том, как бы подбежать и поцеловать ее в волосы. Но это потом, когда нам уже лет по двенадцать, наверно, было. А поначалу-то – только про танк, про деда, про нас: как мы шуршали в траве и по чердакам, разбирали старые пыльные осиные гнезда, ловили кузнечиков, катались на великах, и кругом было солнце – в траве солнце, в воде, в облаках, в резной тени шелестящих листьев, в волосах, в пыли, во рту, и даже губы Наташкины пахли солнцем, и мне так хотелось попробовать, но я не смел. А по вечерам на терраске мы пили кефир и слушали, как дед с бабкой поют старинные жалобные песни, которых теперь никто, наверное, не знает... И только я знаю, с детских лет знаю, из песни про какого-то бродягу всю горечь мира заключенную в слишком красиво и на распев в два голоса спетых словах: «жена найдет себе друго-о-о-ва, а м-а-а-ать сыночка ни-ког-да!» Дед с бабушкой любили ее петь, они даже как будто доставляли друг другу нарочитое удовольствие этим двухголосым распевом, а для меня это была страшная песня про невозможность любви, спетая так искренне и так просто, что меня прошибало до слез. Ибо дед с бабушкой прожили всю жизнь душа в душу, и я, глядя на них, был убежден, что только так и можно, что это и есть любовь. А тут же сами они и пели: найдет, не сомневайся, такая уж любовь злая штука. Только мать останется безутешной. Только мать. Но что мне мать, не с матерью же мне жить, господи, когда я стану взрослым-то! – широко открытыми глазами вопрошал их я. А они, не замечая этих глаз, запевали новую, потом еще одну и еще... А под конец – про «Варяг», конечно¹. Песнь леденящей гордости. Это вместо того, чтоб хоть раз по-честному рассказать про войну. Дед-то был генерал, танкист. Мы его все допытывали – что там, на войне, было-то? А он разговоров этих не любил, уходил от них, а если мы приставали – сердился, и только иногда с кем-нибудь из старых они войну вспоминали.

Спросишь его:

– Дед, а сколько ты немцев убил?

– Не знаю, – буркнет дед, и чувствуется, что продолжать ему неохота.

– Но ты стрелял?

– Стрелял.

– А они падали?

Как же он ответил? Я так и не понял, падали они или нет, или, вернее, так, что падать-то там все падали, люди, кто убитый, кто раненый, но что в гуще боя различить, кто от чего упал, нельзя, что бой – это что-то типа железного ветра, который дует со всех сторон, да еще с завихрениями, а люди, повинувшись этому ветру, смещаются по плоскости, по укрытиям, то ползком, то бегом, то в полный рост, то за кочками, то по воронкам. И каждый стреляет. А потом все заканчивается. И ты либо сразу чувствуешь, как тошноту – разбиты. Либо потом приходит приказ, где говорится, что молодцы, победили, но теперь вам по-любому надо отступать, потому что противник сломил наше сопротивление на флангах и обошел вас справа и слева. И даже пожрать перед отступлением нечего. Потому что ни каши тебе, ни супу – ни хрена. Походные кухни и штаб уже отвалили. Значит, сухарь, кипяток – и ночной марш.

Мы любили трогать рану деда: глубокий, с большой палец взрослого, «вход» над левой ключицей и длинный, похожий на расползшуюся, заросшую темной кожей «молнию», «выход» во всю длину раздробленной левой лопатки. Дед сносил эти приставания молча,

¹ Патриотическая песня о гибели русского крейсера «Варяг» в бою с японской эскадрой в 1904 году.

а возможно, даже любил их как своеобразную ласку, и только когда мы переходили грань возможного восторга и почтения к этим ранам, дед стряхивал нас с плеча, тихонько ворча, как медведь. Лишь незадолго до смерти он мне рассказал, как всадили в него эту пулю из противотанкового ружья, когда 51-я армия попала в котел под Брянском.

Дед всю войну до последнего дня прошел, но сорок первый год его до смерти не отпускал. Когда в жизни не было ничего, кроме жути и позора, ну, может быть, несколько спокойных дней. Их ведь мало было, этих дней, там какая-то яма разверзлась, какая-то прорва несчастья, когда они и ползали, и корячились, и все вроде делали, как надо, и все равно – ветер против них дул, ни разу никому не свезло, ни одному герою силу не удалось показать, и люди горели, как солома. А люди были – первый сорт, и Хасан тебе прошли, и Халхин-Гол². А немцы их палили, как тараканов паяльной лампой. И на всех окруженцев – а там бригада, наверно, целая выходила – две несчастные танкетки остались, да пушка со сбитым прицелом, из которой по немцам били прямой наводкой, глядя в ствол... Потом-то все перевернулось: и сила взялась, и танки, и штурмовики «черная смерть», а главное – удача. Дед бы войну генерал-полковником закончил, но нашелся у него в штабе чудила, который фотографии Гитлера стал собирать из любопытства. Ну этого, конечно, отправили, куда следует, как будто он не знал. А деда вызвали и сказали: у тебя в армии... Такое дело...

Короче, он в сорок пятом призового чина не получил. А если и вспоминал войну, то сорок первый. Видно, круто тот ему дался. Однажды, правда, когда я болел, дед танк мне нарисовал – «Пантера». В сорок первом году у немцев таких еще не было, они на Курской дуге в 43-м появились в первый раз. Дед был там, под Прохоровкой. Помню, как раз фильм вышел, «Огненная дуга», и все смотрели, и дед тоже пошел смотреть. Не досидел до конца, ушел. Весь вечер не разговаривал. Я его потом спросил: «Что, дед, похоже на правду?» А он сказал: «Какое – похоже? Там неба видно не было». И все. Больше ни слова. Так я про Курскую дугу – величайшее танковое сражение в истории человеческой – и не узнал от него ничего.

Тогда войну повспоминать любителей-то много было. А дед – он по грибному делу был специалист. Чуть после дождичка – он в лес налаживается, чтоб с нами дома не скучать. Ну и я вместе с ним. Особенно если ребят не выпускали гулять. Ну, он иногда расслаблялся, а если гриб хорошо шел, то песни начинал петь военные, или вот вдруг как тогда: «Знаешь, Василек, – говорит, – а вот этой дорогой шли как раз немецкие танки. Десант – мне Александр Архипыч сказал – в ноябре 41-го». Внес уточнения. Ну а у меня-папана воображение было – пламя! И опять по-новому все озарилось: ноябрь – значит, потемнее, трава пожухла, березки облетели, снежок промелькивает, а может, и вообще валит в полный рост, и вдруг опять вдали – перегазовка и танк. И пошли они, серые, в перчатках сидят, каски на лоб, лица красные, залубенелые, вот так вот. Сколько мне было, даже не помню. Я себя хорошо помню лет с четырех. Только у меня в детстве было два времени: одно, нелюбимое – как провал. Детский сад – провал. Школа – провал. Плохо помню. А потом – лето. Однажды я после детского сада совсем слепенький на дачу приехал, нашел на подоконнике терраски обмылок хозяйственного мыла – и съел. Думал, конфета. Но за несколько часов рядом с бабушкой и дедом мир расчищался и начинал жить, качаться травами, шуметь деревьями, звучать птичьими голосами. Потом, когда я среди этой зелени приходил в себя, я уже нацеленно шел и обязательно находил ландыши и майник... и нюхал. Ландыши под дубом в дальнем конце участка росли, а майник рядом – среди берез, у самого крыльца. И от этих запахов все чувства сразу пробуждались, и начиналось лето. Радость сплошная, и не верилось, что у нее конец будет. Ну, как у всего. А потом случалось что-то – и все это солнечное кипение июля, запах раскаленных черных досок старых сараев, горячей сосновой коры и даже травы

² Операции на Дальнем Востоке в 1937–1938 годах против японской Квантунской армии.

горячей, паркой в самой гуще, – вдруг начинало выстывать или просеиваться тоскливыми дождичками. И уже бабушка кричала нам с крыльца: «Ребята, свитера наденьте, вечереет, холодно!» Но лето еще долго не кончалось, все листало и листало дни, и опять возвращалось тепло, начинали летать стрекозы, и возле нашего дома расцветали такие желтые цветы, на которые всегда прилетали мухи, раскрашенные, как пчелы. А возле деревянного сортира удивительно красиво, с легкими седыми прядками расцветал иван-чай, последний цветок, напоминающий о тепле, и становилось грустно, потому что вечность лета прошла и подступало вплотную время. Там, в этом таинственном времени, развязался, кажется, еще один узелок, и вместе с дождями на землю возвращался холод. Начинались хмурые последние дни, когда бабушка топила печку и не выпускала нас даже на терраску, где, облачившись в пару толстенных свитеров, читал книгу дед, за спиною которого во все окно колыбался журчащий занавес льющейся с крыши воды. Когда дождь на время прекращался, нас выпускали на улицу, где пахло березовой сыростью, и мы бежали на дорогу мерить лужи. Асфальта на нашей улице тогда не было, луж было много, мы знали их все наперечет, и не только лужи, но и отдельные их места, которые нельзя перейти, не залив сапог. Теперь я забыл, в чем заключалась радость, а главное, цель этого хождения по водам, но ничто, решительно ничто не могло отвести нас от него, а главное, измерение луж нельзя было считать законченным, да и попросту состоявшимся, пока каждый из нас не заливал сапоги – потому что в этом и заключался главный смысл и главный восторг всего этого дела...

Случалось, дожди обходили лето стороной, пару раз пушечно громыхнув грозами, и оно потихоньку выстывало длинными, темными августовскими ночами. Однажды, пытаясь узнать, когда заснет кузнечик, под стрекот которого я каждый день засыпал, я сел у окна и долго смотрел в ночь, на темные огромные сосны и на луну, и так с изумлением для себя узнал, что за движением луны можно уследить – она движется быстро и, крадась от дерева к дереву, через некоторое время соскальзывает с небосклона и уходит за горизонт, – но песня кузнечика не кончается никогда.

– Танк, – осмеливаюсь произнести я. – Танк...

Я пробую слово так и этак, на звук и на вес, еще не подозревая, на что оно сгодится, но уже чувствуя в предельной тяжести одного слога необыкновенную мощь. Танк. Пустой, гулкий. Где-то там, в лесу, под луной... У меня мурашки пошли по всей коже, когда я, наконец, понял, что там, в лесу.

Не просто подбитый, мертвый, разбитый снарядами или гранатами танк немецких десантников 41-го года, а танк, все еще существующий, заблудившийся в пространстве/времени. Марки Т-III. Экипаж три человека...

Я верил и не верил в это свое прозрение, и даже когда дед однажды принес из леса немецкую каску – не посмел поверить до конца. Каска слишком потрясла меня своей формой, своим жестоким, вражеским контуром, своей нешуточной тяжестью, в которой ощущался весь тяжкий металл войны, выпавшей на долю дедам.

Каска была целая, не простреленная и не ржавая, и набитая изнутри сфагнумом, вполне сносно сидела на голове, в чем я не преминул убедиться, напялив ее и тут же получив палкой по башке от кого-то из приятелей. Появилась бабушка. С трудом сдерживая гнев, она потребовала каску, обнюхала мох и с омерзением выбросила его. Потом взяла каску и унесла в дом.

Вечером я подслушал ее разговор с дедом на терраске:

– Отец, зачем ты принес ее? – она всегда называла деда «отцом». – Эту каску кто-то носил.

– Мальчишки, кто же еще? – отступал дед, понимая, что с каской совершил какую-то ошибку.

Бабушка промолчала.

– А кто же еще?

– Очень грязная, – сказала бабушка. – Как бы там не было лишая или чего-нибудь похуже. С войны не припомню, чтобы так пахло... А ты никого не встречал в лесу?

– Какого-нибудь сумасшедшего?

– Ну да.

– Никого там нет, – сказал дед. – Я бы заметил. Но я посмотрю еще... Странно все-таки, что она висела на сучке.

– Была повешена на сучок?

– Да.

– Странно, – сказала бабушка. – Будь осторожен в лесу...

Потом дед разболтал бутылку кефира, и они перешли к кроссворду из «Огонька» и позвякиванию чайными ложечками, к своим разговорам и трогательным заботам друг о друге, которые, как я понимаю теперь, пришли на смену более бурным проявлениям любви, свойственным их молодости, о чем тогда я, разумеется, не думал, полагая, что бабушка всю жизнь только тем и была озабочена, тепло ли спать деду и не нужна ли ему шерстяная шапочка на холодный утренник – на что дед отвечал неизменно смехом, давая понять, что он все еще бравый солдат. От этих разговоров бабушки с дедом дома вечером воцарялся такой покой, что мы засыпали под них, как под колыбельную, и я чуть не уснул, по обыкновению, я уже скользил по ложу сна в темные пучины, как вдруг дед спросил:

– А куда ты дела ее? Ребятам не будем отдавать?

– Нет, – сказала бабушка. – Это не забава.

В то же лето Колька Пастух, сын возчика Царева, где-то далеко в лесу, «на песках», как говорили деревенские, нашел мину. Это была отливка каплеобразной формы со стабилизаторами на хвосте, без взрывателя, но с толком внутри. Мы заглядывали в дырку от вывинченного взрывателя и смотрели на тол, похожий на окаменевшую сгущенку. А вечером поджарили мину на костре. Колька был старше нас, он был уже почти такой, как отец, мосластый, бесшабашный, умелый. Засунув в рот папиросу, он одной спичкой запалил костер и, надев мину на железный штырь, сунул в самое пекло, спеленав желтыми языками огня. Было очень страшно, но все вышло, как он сказал: без взрывателя тол не взорвался, а потек, как жидкое масло, дымя хуже горелого сахара. Колькин отец спяну рассказал ему, что это немецкая мина от штатного батальонного миномета калибра 81 мм. Мина сохранилась почти как новая, только чуть-чуть взялась ржавчиной, да и то было ощущение, что кто-то время от времени отдраивает ее суровым сукном с песочком.

Никто не знал про десант, и я решился: рассказал про ноябрь 41-го, про танки и про то, что один танк, похоже, так и не ушел отсюда. Ребята, выслушав, промолчали, потому что перед нами отверзлась бездна. Это было не кино и не сон, просто война осталась в земле, как грибница, и продолжалась неведомым и незримым образом, который нам предстояло обнаружить. Ибо деды запомнили войну другой – она обрушилась на них в виде огненного шквала и дождя из пепла, и, выстояв в нем, они начали новую жизнь, стараясь забыть былое, боясь, что поток памяти унесет их туда, в оглушительные разрывы прошлого, откуда не будет возврата. Несколько дней мы были безумны. Деревянные автоматы валялись у крыльца, пока мы спали или ели, но каждый новый день мы просыпались, чтобы победить или умереть. Однажды мы без спросу перешли речку и отправились в лес. Все было, как с дедом: через густую молодую посадку мы вышли на просеку под высоковольткой, где желтела вновь отросшая после июньского покоса поздняя трава. В траве почти сразу же наткнулись на белый лошадиный череп с огромными серыми зубами. Видимо, у всех под кожей пробежало электричество, потому что мы переглянулись и спросили друг у друга одними глазами: идем мы дальше или все же отступаем, потому что, в общем, черепа так просто не валяются на каждом шагу и если это знак, то?.. Но кто-то – именно Алешка – все же сумел

пересилить страх и шагнул к лесу, и следом мы – вошли в него, как в стену, будто каждый открыл какую-то дверь между деревьями.

Странно, что на этот раз требовалось усилие, чтобы войти в лес. Он вовсе не выглядел приветливым. Напротив, сумрачно было под кронами елей, и мы бесконечно продирались сквозь какие-то кусты и ветки, которые в тот день будто нарочно выросли, чтобы мешать нам. Бесперывно переглядываясь, мы уже готовы были повернуть назад и в ужасе бежать из этого гиблого леса, пока двери там, на входе, не захлопнулись за нами, но тут впереди просветлело, и мы вышли на луг, заросший жесткой болотной травой – борщевиком, заячьей осокой, пушицей, сытью – протоптанная тропинка вела к старому лесу, который вдавался в луг клином величественно-древних сосен. Там, на самом углу, лежало вывернутое корнями наружу дерево, обнажившее глубокую, ведущую под землю щель, забранную вуалями паутины в крошечных жемчужных капельках...

Я знал это место. Я бывал здесь раньше с дедом. Дед называл его «остров» и любил заходить сюда: здесь черника росла и брусника, настоящие боровые ягоды, здесь и грибов было, и птиц, и белок, и упавших стволов с иероглифами древоточцев под оползшей корою. Здесь лес жил уже отдельной, лесной, самостоятельной от человека жизнью, и мы, чувствуя эту жизнь, не хотели тревожить ее, боясь даже пробудить ее внимание: обходя выворотень, краем опушки пошагали по глубокому мху, стремясь проскочить подальше незамеченными. Несколько капель дождя сорвались с серого неба, из леса вылетел порыв ветра и тряхнул молодые березы на сухой кочке посреди болота: посыпались, кружа, как желтые бабочки, сухие листья, и вдруг Алешка, который шел впереди, присел и прошептал не своим, сдавленным голосом: «Глядите!» И мы увидели. Он стоял под березами, среди заболоченного луга, скрытый высокой травой и мелкой порослью ивы, слегка присыпанный листьями, как бугор земли. Танк Т-III, с облупившейся краской и еле проступающим на ней крестом: серый, ржавый, с заваренной гусеницей и растрескавшимся, как дерево, дулом орудия.

Солдаты говорили по-немецки, позвякивали котелками, варили грибы, коренья, желуди, штопали износившуюся до дыр униформу, ругаясь, чинили свои немецкие сапоги. Я услышал, как один из них глухо пробормотал:

– У нас совсем не осталось боеприпасов. Одна жалкая мина и один снаряд, но и он годен разве что для самоубийства. Пулемет сгодится, если стрелять из него глиняными пулями. Но сколько раз я говорил вам, чтобы мы обожгли глину, как следует? Пулемет скоро разорвет, мы не сможем охотиться...

А командир танка, с висящим на поясе штыком, сплевывал и рассерженно говорил:

– Черт тебя побери! Не всем дано попасть в такую дурацкую историю. Я имею в виду остановку времени. Не знаю, кому это было надо. Может быть, было применено какое-то секретное оружие. Я думаю, война давно закончилась. Но мы не можем вырваться из времени, когда нам заблагорассудится. Хотя когда-то, конечно же, должен прийти приказ...

Третий говорил:

– У меня изжога уже двадцать лет. Я совсем состарился. Скоро умру. Кстати, эти мальчишки-дачники нашли и украли ту мину, которую я припрятал в березовом лесу... Кроме того, я понял, что если война и закончилась, то не в нашу пользу. Москвиты окружают нас со всех сторон: это их дачи вокруг, их, а не наши... Наши никогда бы такого не построили...

Танкисты сидели на броне, грустно склонив головы.

Дождик накапывал все сильнее.

А потом лето все-таки кончалось, взрослые собирали нехитрый скарб с дач и увозили нас в город, где началась школа, продленка и прочая мура и память о танке больше была не нужна.

II

Помню, как мы узнали, что где-то за лесом существуют песчаные карьеры, которые деревенские называли «пески». И все лето, разумеется, бредили этими карьерами. Конечно, это было уже другое какое-то лето, каждое лето мы бредили чем-то другим. И даже подступили однажды к деду насчет карьеров – ведь не зря же он пропадал в лесу целыми днями, должен был знать. Но дед не знал. Кое-что он знал про болото. Большое болото в самой глуши леса. Но, хоть про болото мы тоже ничего не слыхали, это не приближало нас к карьерам.

Однажды дед позвал нас с собой в лес.

– Поглядите, – сказал он. – Может, вы ищите это?

Действительно, это было далеко, и мы долго молча шли, дошли почти до истока нашей речки, нашли родник и невдалеке обнаружили в лесу прорытый экскаватором гигантский ров, по краям которого белели свежие отвалы серой глины, едва взявшейся иван-чаем. А по дну тек ручеек темной красноватой воды.

– Не это? – спросил дед.

Мы не знали, но явно чувствовали: не то.

– Не похоже на то, – сказал Алеша.

Может быть «то» было там, откуда текла вода, но дед не знал откуда. Мы чувствовали, что подошли к важному пределу, к самому краю карты, что еще чуть-чуть – и все станет ясно, весь мир изменится в своих очертаниях и пропорциях, но пока что ничего не могли поделать и возвращались обратно. Мы только еще готовились действовать самостоятельно.

Мы видели, что дед расстроен. Его знание о лесе подходило к концу, и единственное, что он еще мог показать нам, было болото. Кстати, ров, к которому дед вывел нас, прорыли мелиораторы, чтоб осушить это болото, и если б мы пошли вдоль него, то уже через час дошли бы до места, где сливается в этот желоб красноватая торфяная вода – кровь болота... Но все это мы узнали потом, как и большинство вещей в жизни. А у деда к болоту был свой путь – не прямой и не окольный, – свой. Все у него было свое. Своим умом жил человек. И очень радовался, когда ему удавалось настоять на своем, особенно – противостоять соблазну стяжательства. При этом, чем круче был соблазн, чем фантастичнее предполагаемая от него выгода, тем с большим удовольствием дед говорил:

– Отказался! – и смеялся совершенно счастливым смехом.

В то лето жена неожиданно оставила меня на даче на целый месяц одного, уехав с детьми на юг. Поскольку за месяц до этого меня уволили с работы, я взялся было за повесть, на которую у меня все не хватало времени, но то ли пыл к писанию у меня остыл, то ли я верно угадал тревожный мотив в этой нашей первой долгой с женой добровольной разлуке, то ли, ошеломленный дачным одиночеством, чувствовал, как очнулось, пробужденное летними запахами и нахлынувшей памятью детства мое второе «я», обычно задавленное работой, но неизменно рвущееся наружу. Я всегда с ужасом ждал проявлений этого второго «я», зная уже, что примирить его со своей реальностью мне не удавалось и не удастся, и обуздать не удастся, и если ему и не вытолкнуть меня из моей «социальной жизни», то уж оно заявит о себе как-нибудь иначе – обычно пьянкой, похожей на торнадо. Все, что происходило со мной в то время, говорило только об одном: я сбился с пути и при этом так давно, что возможно навсегда. Я еще помнил дороги юности, по которым шагал с энтузиазмом, но теперь еле плелся, делая работу без всякой охоты, стараясь поскорее стряхнуть ее с себя и завернуть в первый попавшийся бар. Я с ужасом думал, что уже поздно и я никогда не вернусь на свой путь, ибо не знаю его, я слишком мало прошел по нему, да и то только в детстве и в юности, в мечтах, а потому все навсегда останется, как есть. Я смирился со своей недолей.

В один из таких дней я отправился гулять и вышел к лесничеству, где за серыми жердинами изгороди, переливаясь всеми оттенками синего, белого и розового, невообразимым маревом качались цветущие люпины, – и вдруг вспомнил, что однажды мы с бабушкой и с дедом дошли до ограды лесничества и бабушка, у которой вообще было мало времени для прогулок и отдыха, увидев все это великолепие, воскликнула: «Господи, благодать-то какая!»

Я остановился. Со мной творилось что-то неладное.

– Дорогие бабушка и дедушка, посмотрите, красота-то какая, – нежданно для себя говорил я и разрыдался. Я понял, что то, второе, «я» овладело мной, и даже голос мой стал другой, и давно уже, видно, под воздействием солнца, и запахов смолы, и знакомых с детства силуэтов леса, рисунков травы и журчания речки, оно готовило взрыв. Стоило мне произнести «дорогие бабушка и дедушка», как я начинал безудержно рыдать. Я торопился по тропинке глубже в лес, подальше от людей, пытаюсь унять слезы и понять: в чем же дело. И для меня уже не было сомнения, что все дело только в том, что я расстался со стариками, погнался за чем-то ненужным и в результате так запутался и выработался к сорока годам, что позабыл, куда мне...

– Все дело в том, что ты их предал, всех, – сказала мое второе я. – Я не могу с этим смириться. Но тебе, видно, с этим ничего не поделать.

Предал. Да, конечно. Я старался не предавать, но предавал. Мне не удалось в чистоте сохранить свою любовь... Я запятнал ее малодушием и пьянством, и вот теперь любимая уехала от меня... Я и на одну сотую не был так добр с детьми, как были добры вы с нами, дорогие бабушка и дедушка... Да, вы были идеалистами и, конечно, не поняли бы той новой действительности, которая пришла на смену вашему веку. Но, знаете, я тоже ни черта в этом не понимаю, вот в чем ужас, мои дорогие... А если так, то что мне остается – умереть? Я не знаю. Может быть. Я не знаю, почему любимая моя покинула меня так, как будто и ей замерещилось во мне что-то неладное...

Это был воистину Судный день.

Я был безработный, которому срочно надо было искать работу, но именно этого я и не делал: я не хотел быть измельченным до последней горстки опилок в станке вечно «перенастраивающихся» массмедиа. Я хотел еще пожить. В эти дни я вел странную жизнь, все делая так, как будто дети не уехали и жена по-прежнему со мной, и только так находил в себе инерцию и даже радость жизни, представляя, что дети – они совсем еще маленькие, как тогда, когда мы с ними строили шалаш и пускали по воде кораблики; и это для них я сейчас складываю поленицу дров, кошу траву, нахожу и притаскиваю откуда-то глину, чтобы замазать коптящую печь... И когда я представлял, как же я жил все эти годы, пока они росли, а я все делал какую-то «работу», которая, в конце концов, и доконала меня, то, выяснялось, что ничего такого особенного в этой работе не было, все это было говно, а были только Санька, Фроська и Глаша, моя жена... И тогда я спрашивал себя: «А чем же я жил, пока их в моей жизни не было? Вот в юности?» И выходило, что без них пустовала душа, ждала, а всякие танцульки там, девчонки, музыка, «Лед Зеппелин» и «Роллинг Стоунз», выпивка с ребятами – это все так, ерунда была, молодость...

Странный прожил тогда я месяц.

В тот месяц я вдруг понял, почему мой дед всегда выдирали старые гвозди из досок; при этом у него был вид, как у самозабвенно занятого своим делом медведя, и когда гвоздь со скрипом подавался, дед скалил свои желтые зубы и в глазах его светилось какое-то древнее торжество.

Гвозди во множестве лежали в старом, красном брезентовом чехле деда: там были и новые гвозди маслянистые и уже побывавшие в деле, повибитанные из заборов, из крыш, из сараев; дед старательно их выпрямлял, и тут я понять его не мог: старые выпрямленные –

они некрепкие, и если сразу не вогнать такой гвоздь, то он обязательно загибался вновь, а я, чувствуя досаду на себя и на деда, без всякой пощады так и вминал его в доску.

И вот однажды, разбирая старый покосившийся сарай, я вдруг понял, что дело не только в результате и даже не столько в нем, но и в самом неуклонном, торжествующем и неспешном усилии, с которым раз добытое и погибшее было вещество жизни извлекается обратно из своих теснин: вот не хочет этот старый, ржавый гвоздь выходить – и ты аккуратными ударами молотка подаешь его назад, а потом прихватываешь плоскогубцами и попросту наматываешь его на щипцы, как червяка, засевшего в своей норе, а потом отстукиваешь вновь до прямолинейного состояния, испытывая необъяснимую радость.

Конечно, всем нам, ныне живущим в эпоху изобилия, трудно понять, зачем нужно было собирать все эти гвозди, бревна, оконные и дверные петли и создавать себе из этого даже нечто вроде похоти, целые чуланы и сараи забивать этим хламом. У деда ни чердака, ни чулана не было, был только красный, брезентовый мешок с выпрямленными гвоздями: но он знал время, когда добротного, оформленного вещества было очень мало, когда все было разбито, изржавлено и сожжено войной, и не то что гвоздей или пуговиц, сукна или просто одежды, а самого дрянного собачьего мыла не было. Оттого-то у людей того поколения, к которому принадлежал мой дед, к вещам было особое отношение: если уж вещь не погибла, обнаружилась-спаслась, ее обязательно нужно сохранить и пустить в дело; к вещам было отношение, как к людям, к солдатам. Если не убит – значит, годен, или хоть годен к нестроевой, или в запасе – но все равно не вычеркнут из жизни насовсем.

Дед чувствовал могучую, умелую силу своих рук и радовался ей, радовался тому всеохватному порядку, который организуется ею, когда старая гвоздovатая доска перестает быть старой гвоздovатой доской и готова опять в прямое дело – не цеплюча и не опасна.

Лишь выдирая гвозди из порушенного мною сарая, я тоже понял, что этим поддерживаю какое-то осторожное равновесие мира. Не сразу понял. Поначалу-то я этот сарай сжечь хотел, и гвозди мне были не нужны, а вот кругляк, из которого он был построен, кругляк и доски – нужны как дрова. Скоро уж должны были вернуться ко мне мои дети, и мне никак нельзя было оставить рядом с дачей груды ошестинившихся ржавыми гвоздями досок. И тут я впервые, похоже, сделал работу, как дед.

И только сделав, понял его; я понял, что таилось в его неторопливой старательности, в том, что даже раздражало меня как мальчугана, чересчур уж резвого: дед не хотел выбрасывать в мир порченное, как сейчас это принято, – он спасал вещи, спасал до конца, как людей, как раненых товарищей. Может быть, поэтому и мир тогда был чище.

В конце этого месяца моей свободы был лес. Целая эпоха моих одиноких походов туда, вслед за дедом. Не знаю, почему, но мне прежде всего вспомнилась кожа деда, когда он возвращался из леса: на ней (на шее) всегда были какие-то микроскопические черные пылинки, хвоинки. И вот, когда хвоинки и мне стали сыпаться за шиворот, я вспомнил эту его влажную, потную кожу и то, как бабушка нежно льет ему на шею из кувшина воду после леса...

В лесу я все пытаюсь понять его и понимаю все лучше. Едва ли когда-нибудь мой дед сообщил мне больше удивительных сведений о самой сущности жизни, чем в это лето... Так было в первый раз, когда я пошел в лес, так бывает каждый раз, когда я отправляюсь туда один. Я встречаюсь с ним. Я становлюсь им. Вот уж не ожидал, дед, что когда-нибудь я стану понимать тебя и быть с тобою одним существом, тобою продолжаться во времени. Не матерью, не отцом – тобою. Это лето – твое. А может быть, это нечто гораздо более важное, может быть, эта встреча на всю жизнь. А тогда, значит, и дочь моя не случайно на тебя похожа, дед?

С первого раза меня поразила спокойная доброкачественность одиночества в лесу. Из мира, как пулями, пробитого нашими криками, спокойно и с удовлетворением уходил дед в мир надежной лесной тишины, которая слаще любой музыки... Он откровенно ликовал,

что остался один и может брести себе, наблюдая великолепное разнообразие жизни. Увидеть все это глазами деда – это было потрясающе. Я убежден, что дед был тонким наблюдателем, и все эти «уровни жизни», паутинки, листики, фигуры веток, узоры древоточцев, мир луж лесных, которые я открывал для себя как бы заново, мир темного лесного – он все это видел и шел за тем, чтобы взять это, напиваться этим, тем более что лес тогда был нехоженее и дичее, чем сейчас, намного. Дед потихоньку проторивал дорогу, которую и оставил мне в наследство, – ведь я до сих пор не могу заблудиться в этом лесу. Как-то я вышел на край болотца – тогда еще оставались ямы темной воды возле Острова – и загляделся на улиток-прудовиков: они ползали по пленке воды с той стороны и, неустанно работая своими терками-ртами, казалось, чистили ту сторону зеркала, в котором отражались облака, сосны, ольховая поросль – и в то же время скрывался темный, бахромистый и древний мир бурых отложений, водорослей, тритонов, казавшийся мне в детстве бездонным, как вход в иное, волшебное измерение – ибо правда нельзя было представить себе, что может быть дно у этого черного болотца, зато запросто можно было вообразить, что это окно туда, вниз, до бесконечности. Я вспомнил, как мы подходили сюда с дедом – и он тоже неизменно зачарованно глядел туда, вглубь, в зазеркалье.

Я вспомнил его взгляд, и эту его манеру бормотать что-то под нос, и вечное странное одиночество, которое охватывало его в лесу, так что его и не дозваться было... А теперь вот и я шел и сам что-то бормотал себе под нос, самопроизвольно делая какие-то пассы руками, потом заметил, что бормочу что-то по-французски, но это не показалось мне странным. Журчащий говор как бы усыплял меня, и вдруг очень ясно, ярко ощутил я запах леса и такой же мощный прилив необъяснимой бодрящей сексуальности. Жена была далеко, я скучал по ней, но дело было не в этом, черт возьми, сексуальность была повсюду вокруг, повсюду был аромат тонкой и нежной, податливой женственности, которая всегда желанна...

Неужели дед тоже чувствовал это?

Во время прошлых прогулок я уже ощущал что-то подобное и сам удивлялся, почему это вдруг я начинаю двигаться упруго и бесшумно, как волк, почуявший мускус следов своей подруги? Я вдруг ощутил большие деревья как живые существа, обладающие даже собственными голосами, а не только общим древесным терпением, которое делает плоть их благородной; существа, обладающие чем-то даже вроде собственной судьбы: у кого-то зарубок на душе побольше, у кого-то меньше и ствол глаже, а кто-то с рождения прозябает на тощем свете и оттого неудачлив-некрасив. Я не очень следил за тем, где я, но сразу понял, что вступил с лесом в какие-то необычные отношения, раз он «говорит» со мной и испытывает то великолепными картинами жизни, то не менее великолепными видениями смерти. Но ведь смерти нет, вдруг понял я. Вот мертвое старое дерево. На нем живет теперь мох, грибы, лишайники, оно служит прибежищем мириадам насекомых и пищей для других. Со временем оно станет еще более «мертвым» и непохожим на дерево и все больше похожим на землю, на теплую, рыхлую лесную почву, которая взращивает все, что окружает меня. Я понял, что мне не надо бояться того, что мне открывается, начал постукивать палочкой о палочку и впал в какое-то смещенное состояние сознания, похожее на шаманский транс. Я, помню, обнял большую сосну, когда подумал, что заблудился. Я обнял ее как пристанище в мелколесье, я припал к ней и нежно обхватил ее – и понял, что плутать я не буду и что вообще мне здесь спокойно и хорошо. Сосна была теплая. Я еще раз обнял ее. От нее не хотелось отрываться, как от женщины. После этого все пошло само собою: я шел все осторожнее, все неслышнее, стараясь превратиться в одно из существ леса и впитаться в него, впитать его в себя. Я разговаривал с грибами, благодарил и целовал их, я обращался к лесу и пытался услышать ответ.

Потом услышал, как одно дерево трется о другое... Поначалу мне, правда, по звуку показалось, что по лесу едет телега... Нет, первая мысль была, что грузовик – какой-то чудо-

вишный грузовик, адски гремя цепями, надетыми на колеса, и на все лады скрипя рамой прицепа, перегруженного хлыстами и вот-вот готового развалиться... Но какая машина, какая лесовозная дорога здесь может быть? А телега может быть? Наконец, я сообразил, что это скрип дерева о дерево, в котором натурально слышен был скрип телеги. Скрип сколоченной громадными деревянными гвоздями огромной дубовой клетки для Стеньки Разина, скрип всех сочленений этой клетки, да еще вопли самого этого Разина, сотрясающего прутья своей тюрьмы. Дерево стонало так надрывно, что я заговорил с ним. Чего, мол, ты хочешь? Может быть, ты меня зовешь? Причем я по-прежнему говорил по-французски, и это меня несколько не смущало, это был другой, непрофанный язык, который к тому же оказался великолепно подходящим для общения с лесом, а главное, я не испытывал ни малейших трудностей в разговоре. Вскоре к тому же я вспомнил, что «лес» по-французски женского рода, и от этого понял, и очень остро, почти сексуально, повторюсь, пережил, что я вообще в лоне неясной мне мощнейшей всепоглощающей женственности... Не знаю почему, но я решил, что и береза – *le bouleau*, – ствол которой от соприкосновения с упавшей елкой и издавал этот душераздирающий скрип увозимой повозки с Разиным, беснующимся внутри, – тоже женского рода... Я пошел к ней, сознательно откликаясь на ее зов. Она позволила себя обнять, послушать. Ветер внезапно затих, ствол не издавал ни звука, когда я впервые обнял его. Потом – я даже попросил об этом у ветра – ветер качнул крону березы. И вот прозвучал в ее стволе звук... Жалобный, доверяющийся мне, полнокровный женский голос. – А-а-а! А-а-а!! – какая-то жуткая боль саднила в нем.

– *Calme-toi... calme toi...*³ – проговорил я, глядя ее ствол. Она замолчала. Я понял, что мы общаемся – с существом другой жизненной природы – как мужчина с женщиной – и плевать тут на артикли французского языка... Я погладил ее гладкую кору, я прижался к ней пахом – и это доставило мне удовольствие – и даже лизнул ее ствол... Она странным образом позволяла все это проделывать с собой и однажды даже простонала в ответ, когда ветер опять качнул ее красивую крону. Что это было? Флирт? Я не знаю. Через некоторое время я ушел от березы, боясь, что наш контакт чересчур брутален. Ушел далеко, пока не оказался у мокрого луга в глубине леса. Лег на сухое место и прослушал, как кукушка откуковала мне двадцать лет. Еще двадцать. Наверху было небо и кроны деревьев. Облака. Одного этого дня было бы достаточно для счастья на всю жизнь. Потом раздался осторожный скрип, как будто приоткрылась калитка. В стволе одного из деревьев поблизости, конечно же, был домик, и там все время открывались-закрывались какие-то двери, тикали и били часы... Опасаясь меня, обитатели, тихонько топоча, перебегали туда-сюда, еле слышно переговариваясь. Тут же лежал огромный еловый выворотень – и опять для меня не было сомнения, что под каждым выворотнем есть вход в подземный мир. Светло-зеленые хвощи деликатно закрывали зияющую глубину.словно ступеньки гнома, поросшие лишайником, туда вел узкий ход, убранный кисеей из паутины в капельках росы, и, чтобы протиснуться туда, надо было стать не больше лягушки...

Каждому здравомыслящему человеку ясно уже, что в своих прогулках по лесу я зашел чересчур далеко, и уж, во всяком случае, далековато, чтобы опыты подобного рода могли закончиться *просто так*. Действительно, в один прекрасный день, или, вернее, вечер, я решил отправиться в лес ночью, чтобы при помощи фонаря и видеокамеры увидеть, а по возможности и запечатлеть те одухотворенные сущности, которые приоткрывались мне днем. С нетерпением я ждал темноты и, в конце концов, поймав некую едва различимую грань между светом и тьмою, отправился, прихватив с собой камеру, мощный фонарь и туристскую «пенку», чтобы где-нибудь в укромном месте поспать часа два, потому что в мои планы совсем не входило шататься по лесу до рассвета. Нет смысла в деталях описывать этот ноч-

³ Успокойся, успокойся (*фр.*).

ной поход. Скажу только, что замысел мой стал ломаться с самого начала: ночь, даже светлая июньская ночь, набрав силу, оказалась чересчур темна. Свет фонаря, который казался настоящим прожектором на открытом пространстве, в лесу не мог осветить ничего, кроме коридора дороги, с обеих сторон окруженного совершенно глухими стенами тьмы: свет моментально «вяз» в ветвях и стволах леса и не мог пробиться вглубь. Кроме того, оказалось, что моя любительская видеокамера попросту *не видит* ничего, что освещается дальше четырех-пяти метров от нее. В результате, правда, при просмотре пленки я обнаружил неожиданный эффект: будто фильм снят глубоко под водой, в затопленном лесу, среди гигантских водорослей или попросту в инопланетной жизни. То и дело в объективе вспыхивали выхваченные светом фонаря травы у дороги. Все они казались другими, нежели днем, и все проявлялись в каком-то несвойственном растениям активном отношении к человеку: одни кивали мне цветущими метелками, другие щерились и запускали впереди полосы мелькающих, острых, режущих теней, третьи вдруг открывались в какой-то фантастической красоте... Помню растение конского щавеля, которое буквально заворожило меня: оно выступало из темноты подробно, выпукло, в прекрасной оголенности сочных, зеленых прожилок листа, пробитого красными оспинами какой-то щавелевой болезни и сухих, остевых жил стебля. Монисто семян, казалось, и правда собрано из мелких средневековых монет, позеленевших от времени... Растение, которому днем я по привычке не уделил бы внимания, ночью определенно красовалось передо мной. Живые духи были всюду. Вот эта ветка, покрытая мхом, словно шерстью, определенно, пряталась от меня, другая же, похожая вместе с комком прилипшей к ней земли на ежа, скорее любопытствовала. Третья – изогнувшись, как змея, старалась напугать. Так что чего-чего, а чудищ, в которые преображались ночью опавшие ветки или поверженные деревья, было вокруг меня предостаточно. Но что по-настоящему поразило меня, так это дерево дикой груши. Чтобы осветить ее, я сунул фонарь в гущу ее ветвей, а когда прильнул к глазку видеокамеры, то увидел... Нет, это было не просто светящееся дерево, а дерево, будто вырубленное из камня. В центре этой картины, посреди разбегающихся по листьям бликов света, резкими желтыми, зелеными и голубыми гранями проступало женское лицо потрясающей красоты. По счастью, кинокамера запечатлела это довольно точно, и если это была душа дерева, то она не спала, наблюдая за мной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.